

Вышла новая книга журнала «Современные записки». <...> Б. Зайцев о «Чайке» <...> // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1939. 7 мая. № 9588. С. 2, 7.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

«МОГИЛА ВОИНА» — РОМАН М. АЛДАНОВА • МАРКИТАНКА
БЫВШАЯ ОДАЛИСКА ПАШИ • «ВЕЧЕРНИЙ СПУТНИК»
РАССКАЗ Г. ГАЗДАНОВА • Б. ЗАЙЦЕВ О «ЧАЙКЕ»
Т. ТАМАНИН О ЗАМЯТИНЕ • ВОСПОМИНАНИЯ
АЛЕКСАНДРА БЕНУА О ХУДОЖНИКАХ

РОМАН Алданова «Могилы Воинов» закончился, — закончилась жизнь Байрона. Могилы воинов... Какую? С кем воевал Байрон? Гибель воина — в бою. — Байрон умер, как умирают все больные люди. Его сразила в Миссолонги гнилая лихорадка, этой смерти предшествовал глубокий эпилептический припадок.

Последние месяцы жизни Байрона его биографы освещают необычайным светом. Проф. Алексей Веселовский рассказывает о них, как о героическом шествии: «страшное дело», «подчинил себе будущих сподвижников», «внушил им великую привязанность», «в турках одним уже появлением своим, превеличественным легендами, возбудил страх». Он умер и «горю греков не было пределов».

В этих утверждениях красноречивого профессора сплелись правда и легенда, кое-что от истины и романтическая выдумка. Роман Алданова предпосылает бедную правду — «тému низких истин».

Ничего эффектного, ничего замечательного, — все просто в простой человеческой жизни. Героические подвиги давно стали достоянием батальных картин и пылких биографов. Так называемые «романтизированные биографии» возникли тоже давно, потребность в красивой лжи насчитывает сотни и сотни лет.

Правде надо смотреть в глаза открыто, смело и прямо. Для умного человека наступает пора, когда ему надоедают преувеличенные слова, великолепные позы, жажда славы, удивление современников, надежды на поклонение и сказки потомков. И Байрон, подхвачен к своему дому, почувствовал, что наитранная бодрая улыбка выступающего в поход полководца больше не была нужна, рисковать не стоило: «Что, если теперь, к неизбежному шарлатанству поэта присоединится обязательное шарлатанство борца?». Эта мысль была ему противна.

Все, кажущееся на расстоянии лет торжественным и праздничным, оказывается серыми буднями. Праздники и громкие призывы обязательны только в прокламациях. Вот майор Парри, — совсем не майор, а какой-то клерк при английском арсенале, — собирает на дворе служащих, произносит энергичную речь, кричит, что «мы (англичане) освобождаем вашу страну, ваш народ, это для вас сюда приехал его светлость лорд Байрон», «он для вас все сделает, жену, детей, родину, приехал освободить Грецию, чорт вас возьми!» Но простые, не мудрящие люди толпы, эти же самые греки, совсем не волнуются великим предприятием Байрона. Маркитанка, недавняя одалиска какого-то пашы, искренне отвечает недавнему карбонарию, «мастеру-месяцу», теперь шпиону. Он ее спрашивает: «Этак ты, может, не хочешь, освободиться, Греция?» — «Отчего не хотеть? Хочу, конечно», — ответила она лезая.

И греки, разбои, отказались убирать мешки с драгоценным ракетным составом: в этот день был праздник, и все призывы к их патриотизму оказались напрасными. Байрон приехал защищать свободу Греции, а они к этой свободе оказались совершенно равнодушными: ничего эффектного, никаких величественных порывов, никакого живописного энтузиазма. Издавший смысл «мастера-месяца» подсказывает ему тоже простой вывод: Байрон — сумасшедший. Конечно, этим не исчерпывается определение поэта и «воина», но шпion прав, хотя бы потому, что все окружающее не дает ему никаких данных для вывода.

Я нарочно употребляю все время слово «простой». В романе выплывает простая логика, происходят очень простые события, люди живут простой жизнью, и лицо простейшей маркитанки для нас милей и ясней, чем многие другие. Эта простая женщина, вчерашняя одалиска, ласково вспоминает о своем убитом паше, она — миленькая, заботливая и, сойдясь с ней, «мастер-месяц» и шпион чувствует себя как бы в семейном кругу, растроганный онейской и устатками этой неприхотливой женщины. Смутно и радостно он начинает догадываться, что к ней привязался, и на минуту ему приходит мысль о том, что не плохо было бы связать свою жизнь с этой не хитрящей, спокойной маркитанкой. Правда остается на стороне простых душ. — простая житейская правда, не желющая парить в облаках, не облакающихся в золотые одежды вымысла, прикрас и легендарных, пышных, но неверных сказаний.

Да, торжествует правда простых душ. Фейерверки, ослепительные и восхитительные шобы тоды не приносят счастья, и уж, конечно, никакие не дают покоя. Поскольку — риторика или подделка, Байрон это понимает, «все в Миссолонги, в сущности, было фикцией». По своей роли, в качестве освободителя, Байрон сам должен был принимать участие, подавать пример другим, но при этом чувствовал неловкость, точно при чтении своих ранних поэм, как в тех поэмах было противно «байроническое», так и этих упрямых на плацу с ружьем корабельно-это-то-дедано-корольское «старинно-раннотурецкое». Думал Байрон и о своем прошлом, своих любовниках, вспоминал ошибки, обман, разрыв, — почти все это теперь начинало у него отпадать. Вообще истинного тела жизни не было, и здесь, в Миссолонги, оставалось очень

много свободного времени. Байрон читал и сам удивлялся: стоило ли для этого приезжать в такую глушь? Не отнимала времени и армия, «к в вечеру она ложилась спать», — ироническая строка!

Искусственному и все понимающему Байрону пришла унылая мысль: написать две книги, притом об одном и том же. В одной изобразить показную сторону жизни, в другой — ее изнанку. Написать это ему не пришлось. За него это делает в своем романе Алданов, — показывает изнанку. В минуту раздумья Байрон приходит к честному и горькому заключению: «Что мне до конституции Маврокордата? Что мне до Лепанто?» Что, вообще люди зияют. «Они в Верроне (на конгрессе) доказали, что ничего не знают, ничего не понимают, ничего не умеют... Не скоро, поздно, случайно история выясняет, кто из государственных людей был сумасшедшим в настоящем смысле слова, — иногда она и вовсе этого не выясняет. Под общий свист уходят со сцены наиболее талантливые артисты, а остаются и пользуются огромным успехом клоуны». Даже себе самому Байрон не может отдать ясного отчета, зачем он приехал сюда, в Миссолонги: освободить ли Грецию, или отдать неудавшемуся, никому и ненужную жизнь?

Все надуманное осуждено на гибель, и призрачно величие, и призрачны все его утехы: просто жить, жить в простой жизни, простых днях, слушать простого голоса инстинкта существования.

Есть в этой книге новый рассказ Г. Газданова — «Вечерний Спутник». Газданов рос и вырос на наших глазах. Особенно поднялся в последний год. «Вечерний спутник» — лучшая его вещь. Здесь сдержанный мужественный лиризм, спокойствие уверенного в себе писателя, — рассказ о счастье не знать об утраченных нас иллюзиях. Старик, бывший министр, скептик и отрицатель, пред смертью, в тайне от всех едет в Болые навестить в последний раз испанку, теперь тоже старую — единственную женщину, не воспользовавшуюся ни одной из возможностей своего положения. В самые трудные минуты его жизни она была неизменно с ним рядом. Ни на кого никогда он не мог положиться, и он верит и верил, что она никогда не изменяла ему. Так рассказывает он своему случайному спутнику.

Все оказалось иллюзией. Старик умер. Его спутник в беседе с кухаркой, долго служившей у этой женщины, узнает, что она — скупая, что всю жизнь меняла любовников, в последние годы платила им деньги, приславшиеся ей у мершим стариком. Казалось-бы: страшная ложь. Но, — если многолетняя ложь и измены испанской красавицы ни в чем не уменьшили ее очарования и привели к такому удивительному и беспримерному завершению, то... всякая истина, сопоставленная с этим обстоятельным обманом, увядает и становится идеально ненужной.

Одно замечание: слишком много «бы». Эти «бы» теснят друг друга, колят наш слух.

... Если бы в этом квартале произошла в те времена кража, мне, вероятно, пришлось-бы побывать в комиссарнате... и, конечно, тому, что я сказал-бы, никто не поверил-бы...

Борис Зайцев пишет о чеховской «Чайке». Она, — по справедливому замечанию автора, — не лучшая вещь Чехова — «Архирей», «В овраге» крепче и совершенней. Но судьба «Чайки» особенная. Когда-то она шла в Москве, и этим спектаклем все были очарованы. Занавес опустился, зрительный зал вначале молчал. За сценой участвующие умирали от страха. Одна из актрис упала в обморок. Вдруг молчание разразилось бурей.

Теперь «Чайка» шла на французской сцене, и произвела тоже чудесное впечатление. Пьеса не проиграла. Живучесть ее очень велика, некоторые стороны воспринимаются даже сильнее. Когда-то говорили о Чехове, что он «безвидный», без руля и без ветрил, чуть-ли не холодный. Время показало, как это неверно. — «Он один из самых добрых в литературе русской». В «Чайке» он милосерден ко всем своим подданным — и тем более милосердив, чем более они несчастны. Это всегда ощущал русский зритель, это почувствовал теперь и французский. «Чайка» есть ветвь мира, — мир так нуждается в милосердии! «Когда мы были моложе, то воспринимали «Чайку» артистически. Теперь у мира больше ран».

Е. И. Замятину посвящает статью Т. Таманин. В «Сегодня» я писал о нем тотчас после его смерти, 2 года тому назад — 2 марта. В статье Таманина следует отметить строки, посвященные прежнему русскому читателю и теперешнему. Тогда к писателю предъявляли большие, даже чрезмерные требования. Он должен был осуществлять собой и учителя жизни, и судьбу, и мудреца, и пророка, и «воспаленную совесть». Революция все изменяла. Духовное значение писателя похолодало. К его личности стали относиться с холодным и страшным равнодушием. Доверчивое отношение к его мудрости сменялось скептицизмом. Нишушие люди: потягул, к

Окончание на 7-й стр.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

(Начало на 2 странице)

философии, богословию, к истории. Эту отчужденность читателя Замятин испытал в эмиграции, уйдя из страны Советов.

* * *

Дал в эту книгу «Русских Записок» свои воспоминания о балете Александр Бенуа, о художниках «Мира искусств», о Мамонтове, Коровиче, Александре Голощине, Тягилеве, Серове, Сомове, Бакстес, Лансере.

Как-то я отметил на этих столбцах, что в России—Москве и Петербурге—в начале нашего века вдруг появилось много талантливых рассказчиков, совсем не профессионалов-актеров. Отлично и талантливо рассказывал Шаляпин, отличным рассказчиком был Коровин, хорошо рассказывал Виноградов. «Не заслушаться» Коровина, как «не заслушаться» Шаляпина, не было возможности,—рассказывает Бенуа,—даже в тех случаях, когда тема рассказа была чуждая и иные приемы рассказчика не совсем соответствовали вкусу слушателя. «Я не менее бывал пленен, слушая говорящего Шаляпина, нежели, когда слушал его поющим. И вот тут Коровин, пожалуй, не уступал Шаляпину, а в смысле тысячи подмеченных на натуре подробностей, в смысле прямо-таки гениального расположения эффектов—он также и превосходил своего друга». Мелькнуло в этих воспоминаниях имя Гурлии Лонгиновны—жены Телешковского. Она была не прочь сама приложить руку к постановке и, директриса-невидимка, считалась настоящей вдохновительницей своего мужа. Говорили, что она его превосходила и культурностью, и умом, и художественным чутьем. Это было тайной почти от всех. О роли Гурлии Лонгиновны в судьбе пьес и постановок не знал почти никто, даже из близких к театру.